ризм, метрическое соотношение вещей. Вообще говоря, триединство этих моментов и составляет суть слова как онтологического задания бытия. Но эти моменты, к сожалению, часто расходятся, начиная с Платона. Уже у Аристотеля математика уходит из онтологии и вербальное пространство поглощает оставленную ею нишу. Потом образовавшаяся в результате таких событий традиция мифо-риторического сознания получила христианский импульс и существовала в таком виде достаточно долго. Первым ее начал раскачивать номинализм в XIII — XIV веке, а затем уже в новое время она подвергалась дальнейшему разрушению, хотя эта мифо-риторическая традиция и сохранялась до конца XVIII века.

Это существенный момент истории культуры. Натиск на эту традицию существовал всегда. Он отражен в словах Декарта, который на вопрос, где же ваша библиотека, указал на вскрытого им для анатомирования теленка со словами: «Вот моя библиотека!» Это только один из этапов обратного движения. Сначала переход совершался от мира к книге, а потом, наоборот, от книги к миру, к книге жизни (le grand livre du monde Декарта). Это путь к невербальной культуре, в трактатах Декарта много схем, это был уход от вербализма, от слова. Герменевтика была реакцией на эти явления. Так примерно и сжато представляется мне история слова.

Т.А.Касаткина. Я хотела сказать несколько вещей в дополнение к тому, что говорил В.П. Дело в том, что А.В., вообще удивительно чуткий к времени человек, в том числе не мог не чувствовать ситуацию, от которой кто-то отбрыкивается, кто-то отказывается видеть в ней нечто серьезное, кто-то стремится определить ее как маргинальную и отнести на периферию культуры. Я имею в виду постмодернизм. Ситуацию эту он описывал очень серьезным образом. Он утверждал, что мы оказались в точке, в которой собрались все времена. И в некотором смысле мы можем со всеми этими временами поступить так, как нам будет угодно. То есть, мы можем их присвоить и можем внести в них тот смысл, который нам будет угоден. Наш собственный смысл. И мы можем их оставить в их «ином».

Но здесь встает еще одна проблема, до которой А.В. регулярно не договаривал, хотя я думаю, что конечно — додумывал, и даже шел дальше. Дело в том, что можно оставить их в «ином» и успокоиться на этом, отделить их как «другого» и не сделать их «другом», своим. И можно переболеть их болями и понять их истину, усвоить их в себя не в смысле присвоения и не в смысле внесения в них своего смысла, а именно уроднить их смысл себе.

Это можно сделать только за счет преодоления того, в чем видел радикальную ущербность и неправильность постмодернизма А.В. и

в чем она действительно проявляется для любого человека с презумпцией доверия к миру. Если для постмодернизма любое слово пусто и, в общем, способно к наполнению любым смыслом, который будет угоден исследователю, то А.В. был уверен в том, что слова имеют собственное знание. И это знание, оно, на самом деле, там и остается, не важно, извлечем ли мы его сейчас, хватит ли у нас на это сил и совести, что-ли, научной, или мы оставим его там и забудем о нем, решим, что это та оболочка, та пустая форма, в которую мы можем вложить все, что угодно. Оно все равно там останется, и в этом есть большая надежда.

То есть, даже если мы сейчас просто опустим руки и ничего не сделаем с этим знанием, которое заключено в словах и которое несут сами слова, увлечемся конструкциями и построениями,— и сейчас есть очень много оснований думать, что это будет именно так,— то это знание все равно останется в словах, и вся накопленная мысль, вся накопленная культура все равно останется в словах, и когда-то слова донесут свое знание до того, кто захочет, наконец, им воспользоваться. Поэтому я тоже думаю, что надежда есть, и что она очень серьезная.

И.Б.Роднянская. Звучит несколько утопично.

Т.А.Касаткина. Да, в каком-то смысле это утопия. Вообще вся статья А.В. об этом, это, некоторым образом, утопия. Потому что он пытается отослать науку в место, которого нет. То есть в место, где она бы обдумывала свои основания. Такого места сейчас действительно нет, но есть, опять-таки большая надежда на то, что, в конце концов, это место возникнет.

Н.К.Гей. По крайней мере, точка опоры где-то есть.

Т.А.Касаткина. Да, точка опоры где-то есть, и она ощутима.

Е.В.Иванова. Я не собиралась выступать, но в сегодняшнюю дискуссию мне хотелось бы внести вот какой вопрос. Дело в том, что в своей жизни мне некоторое время довелось быть секретарем Леонида Ивановича Тимофеева, и когда я познакомилась с ним поближе, то испытала большое удивление. Дело в том, что в университете мне приходилось изучать теорию литературы по его учебникам, я меня это не впечатляло. Между тем автор этих учебников оказался человеком несомненно большого масштаба. Он был именно убежденный марксист, вообще личность можно сказать монолитная, непреложно веривший в свою науку, и убежденный в том, что он владеет языком, способным описать литературу. Таким же был и Г.Н.Поспелов, лекции которого я слушала в университете, он был свято убежден, что схемы, которые он чертил на доске и которые с пристрастием спрашивал на экзамене, и есть настоящая

наука, адекватно описывающая все литературные явления на своем языке. Это была своего рода эпистемологическая неуверенность наоборот.

Но когда я пришла в наш Отдел теории и столкнулась с А.В., стала читать его труды, участвовать в собеседованиях с ним, я открыла для себя другую науку, также пытавшуюся описать литературу на своем языке, но с совершенно другим понятийным аппаратом и методологией. Мой вопрос к присутствующим заключается вот в чем: что это — единая наука, развивающаяся по законам прерывности, или способность этой науки на каждом этапе своего существования создавать новый понятийный аппарат, который исчезает вместе с поколением, которое его создает.

Ведь даже «Теория литературы», которую создали в свое время в нашем отделе, и отдельные статьи которой я помню до сих пор, по существу не имела никакого продолжения в трудах самого отдела, и те же авторы, начни они писать сегодня «Теорию литературы» написали нечто совсем другое. Что это — одна наука, или сколько людей, столько теорий литературы?

И.Б.Роднянская. Мне кажется, что это разные теории литературы. Одна линия — тимофеевско-переверзевская, другая возникла тогда, когда в нашу культуру стала возвращаться немецкая идеалистическая эстетика, прежде всего Гегель, тогда-то и получилась «Теория литературы», написанная в ИМЛИ. А сегодня те, кто, например, печатается в «Новом литературном обозрении», которое я читаю с интересом, хотя и не все одобряю, не признают своего родства ни с той, ни с другой. Это и есть один из признаков идеологизации, когда каждое поколение предпочитает начинать все сызнова. Мы не умеем продолжать. Ведь Гегель, когда начинал строить свою грандиозную эстетическую систему, не мог совсем игнорировать существование, например, Канта. В XX веке магистральное явление — идеологизация гуманитарного знания, причем идеологизация прикровенная, то есть не диктуемая сверху, а добровольная.

Т.А.Касаткина. Но ведь непризнание родства, не есть отсутствие родства, и получается, что они и есть наследники тех, кто идеологизировался по указке сверху.

С.Г.Бочаров. Я ответил бы на Ваш вопрос не совсем так. Мне кажется, что А.В. не был теоретиком литературы в том смысле, в каком был им Л.И.Тимофеев и сам об этом неоднократно говорил. А.В. был философски и исторически мыслящим филологом, причем самым широким, насколько это можно себе представить. Он неоднократно говорил, что теории, которая не стоит над историей,

просто нет. Я и себя не считаю теоретиком, но уже по другим основаниям, я считаю, что я не способен к саморефлексии и т.п.

Е.В.Иванова. Второй вопрос касается еще одной возникшей на наших глазах традиции. Дело в том, что в последние годы сразу несколько известных литературоведов среднего по масштабам нашей науки поколения уходят один за другим. Я не буду перечислять этот скорбный мортиролог, скажу только, что в честь каждого из них возникают чтения, названные по их имени. Независимо от перспективности этих чтений, как вы считаете, с чем это связано — с тем, что в литературоведении все — личность?

С.Г.Бочаров. Мне кажется, что да, в литературоведении как в писательстве личность значит все. Школа — это особое и редкое явление и мало кому удается ее создать.

Т.А.Касаткина. В упоминавшейся уже статье А.В. говорит о том, что никакая школа, никакая прошлая правда, которая существовала в этих отдельных, локальных теориях литературы, которые стоят каждая на своем месте и выражают, на самом деле, рефлексию культуры о себе, так вот, никакая правда не должна быть превзойдена в том смысле, что она не должна быть утрачена и заменена новой, а именно должна быть понята на своем месте и в связи со всеми другими «местами» во времени. То есть была идея создания какого-то непрерывного потока времен, которые все сошлись в одну точку и все сошлись туда со своей правдой, причем ни одна из этих правд не отрицает другую.

С.А.Небольсин. Еще что отличало А.В. от тех теорий, представителем которых был Л.И.Тимофеев. В тех теориях никогда не было тревоги, это было бестрепетное начертание, а вот что было главным в А.В.— это тревога, волнение над тем, что он делает. Казалось бы, это донаучное качество, не для серьезной жизни. И это его не только доверие к слову, но и просто человеческая доверчивость — качество, с одной стороны, детское, а с другой — и пушкинское. Уже Лермонтов, например, этого как-то лишен. А кто из них двоих больше теоретик?

В.С.Непомнящий. Я если и являюсь теоретиком, то самодеятельным, и мне тоже близко в А.В. то, что С.А.Небольсин назвал простодушием. Правда, это простодушие не все в литературоведении приветствуют. Но если в слове «филология» выделять корень «логос», то получится, что это наука, чуждая всякому позитивизму. Литературоведение должно вернуться к этому значению слова, хотя про ту филологию, которую я представляю, недавно молодое поколение категорически сказало: «давить». Не лично про меня, а про все то литературоведение, которое я представляю.